



Часть первая  
ЮНОСТЬ



## Глава 1

### ЦЫГАНЕ

Автобусную остановку так и объявляли: «Цыганские бараки», хотя официально она называлась «Совхоз «Пригородный». Но куда денешься от цепкой народной речи, от правдивости данных ею имён и названий. Минуя Верёвочную, Механизаторов и Свистихино, автобус подкатывал к сиротливому навесу над раздолбанной деревянной скамьёй, изрезанной ножиками, и кондукторша привычно выпевала: «Цы-и-га-анскаи бара-аки!» И всё пространство за «Пекинкой», от Комзяков до самого города, — весь этот обширнейший квадрат с прудами, лугами и берёзовыми колками, — молчаливо признавалось остальным населением посёлка «цыганским».

А ведь, по сути, барак был один: длинный бревенчатый, поровну разделённый на два отсека; в каждый заходили с торца. В каждом отсеке был свой хозяин, — на станции и в городе его называли «бароном», сами же цыгане звали «старшой».

8       Внутри барак выглядел как обычная коммуналка: печка для обогрева (хотя стряпали на электроплитках: две конфорки, открытая спираль), два три сундука, накрытые цветастыми тряпками, стол с разноплемёнными стульями-табуретами и ярусные койки вдоль стен, точь-в-точь — лагерные нары. С порога шибавший запах натруженных портянок довершал это сходство, и оно понятно: в барак были утрамбованы четырнадцать многодетных семей. Конечно, цыгане, как и прочие обитатели здешних мест, мылись в бане — и станционной, и фабричной, так что запахи их тел гармонично сливались с прочими ароматами советской эпохи, а портянки — ну что портянки! — хромовых-то сапог у цыгана ещё никто не отменял.

Барак построили городские власти в 1956 году согласно хрущёвскому указу: отвлекать цыган от кочевого образа жизни, прививая им *оседлые привычки*.

Насчёт привычек всё обстояло не так гладко: пятнадцать веков *рома* всего мира с весны по осень наматывали вёрсты-мили-километры-лье... на колёса своих кибиток. Цыганская кибитка, *бардо*, была для этих людей и домом, и судьбой, и средством передвижения, и остовом их бродячей души, талантливо воспетой во многих романсах. Так что указ указом (мало ли чего Хрущу придёт в его лысую башку!), а вокруг барака всегда гуртовалась пара-тройка-пяток кибиток, некоторые — богато изукрашенные, и чуть поодаль обустроено было летнее стойло для лошадей — средоточие цыганской жизни, неизменный её оплот. Ибо каждый цыган должен иметь коня.

Каждый цыган должен иметь кумачовую атласную рубаху да хромовые сапоги, а вот штаны вполне могут быть магазинными, обычными чёрными портками советского человека: диагональными или ратиновыми, в мелкий косой рубчик.

Но всё это — в тёплые месяцы; зимой цыгане все до единого ходили в тулупах с железнодорожного склада Клавы Солдаткиной.

Что до цыганских женщин, дома они держали себя неприметно, одевались в чёрное или в серое: простенькая юбка, скромная кофта, непрременный фартук. Ну гребень в тяжёлых волосах да пара колец на пальцах, — когда не на промысел. Если же из дому, тогда, конечно: и пёстрые юбки, одна на другой, и красные бутоны роз наискось по роскошной шали на плечах... не говоря уж о немалом грузе семейного золота, которому только и доверяют цыгане, и носят его на себе, и звенят, и бренчат, и тихо позвякивают (по количеству золота на жене определяется достаток мужа). А у самых видных женщин — к примеру, у жены или дочки барона — ещё и массивный витой браслет надет поверх длинного рукава блестячей блузы.

«У меня жена — золото, и на ней — всё золото! — приговаривал Лачо, богатый цыган, *старшой по вторсырью*. — Если даже луна-звёзды погаснут, моя Зора будет сверкать, как ёлка, с макушки до пяточек!».

И вот что интересно: женщины никогда не курили. Кино, ясно-дело, важнейшее из искусств, и все мы в детстве насмотрелись, как табор уходит в небо, и в пронзительном кадре актриса подносит к алым губам мундштук романтической трубки.

10 ки, пуская вверх колечки прицельного дыма... Но в реальной жизни цыганки из «наших» барачков не курили — да и как можно! Они были заняты совсем другим.

В каждом многодетном семействе было по *смотрящему*, у каждого — свой удел для добычи на общий котёл. Кто-то отвечал за попрошайство, кто-то за гадательный промысел, кто-то за воровство в автобусах.

Тут надо представить картину: вот прибыл пригородный поезд — приличный состав, восемь вагонов, в каждом человек по семьдесят пассажиров, подавляющему большинству необходимо добраться до города, так что на единственной автобусной остановке, на привокзальной площади, скапливается народ. А автобусы — что, их два на линии, и каждый, мягко говоря, не чудо автомобильной промышленности... Да вы их помните: узконосые, дверь — одна, справа от водителя, открывается-закрывается тем же устало-осатанелым водителем при помощи рычага, закреплённого на стыке двух никелированных трубок: одна ведёт к двери, другая... «Ну-ка, уплотнились там в заду, кому я, блять, говорю?!.» Да что там растолковывать, все ездили, все колесили по дорогам, проулкам, по рытвинам и колдобинам родной страны. Повторим: на линии два ветерана отечественного автопарка, в каждом — тридцать сидячих мест, плюс сколько набьётся в проход. Так что пригородные пассажиры, усталые и раздражённые, с остановки рассасывались часа через два-три. Как же не потолкаться, не пошуровать в толчее!

Вообще-то, *наши* цыгане считались «полуоседлыми». В тех самых бараках у них была «база», откуда на промысел выходила группа мужчин. Вернувшись, отсыпались, гуляли-бренчали... а на промысел в это время уходила другая группа. Но были среди них и работяги (потому-то городские власти им и выделили бараки). И если мужчины у цыган всё-таки работали — кто на сборе вторсырья, кто на пашнях совхоза «Пригородный», получающая трудодни, как и остальные колхозники, кто у лесников на подхвате, кто на кирпичном заводе, кто лудил-паял-точил по дворам... — то женщинам, как известно, работать — грех! То есть, конечно, они баклуши-то не били, они трудились неустанно, чтобы семью прокормить: кур воровали, ездили в город гадать, заморачивая голову какой-нибудь наивной дурёхе; выуживали кошельки у матерей семейств — всё это не за грех считалось, а за добродетель: забота о детях, о семье — дело святое. («Наш бог, — говорил тот же Лачо, — нам всё разрешил: гулять-воровать, грабить-убивать!»)

Затем разнообразную добычу вносили в общак на три-четыре семьи, раскладывали на природе костёр, и какое-то время вкусное (всегда вкусное!) варево кипело в котле, разнося ароматы по округе. Тут же дети крутились, подтягивалась молодёжь с гитарами... И до поздней ночи на огромной обжитой, заставленной кибитками поляне звенели-гремели-дрожали-стонали струны, взмывали голоса, вплетаясь распевными лентами в гривы коней, в рассыпчатую листву берёзовых крон, в сизоватый дымок костра... (и прочее, и тому подобное — соответственно литературному штампу,



12    который, увы, есть не что иное, как многократный отпечаток жизни).

Разумеется, выпивали — винца, иногда и водки, но не вусмерть, для веселья. Бывало, что и дрались, но тоже — не вусмерть; скорей для задору, для удалства и укрепления авторитета.

По праздникам гуляли особенно жарко, и свой у них был реестр праздников: Рождество, Пасха, Старый Новый год — вот, пожалуй, и всё. Ни тебе дня рождения или там годовщины свадьбы, Первомая или, скажем, ноябрьских... Скудновато по датам, зато гуляли подолгу: неделя, а то и две, — ведь каждый у другого должен в гостях побывать.

\* \* \*

Мама звала старьёвщика «хурды-мурды»...

Давно, в самом раннем детстве Сташека, время от времени возникал этот цыган. Въезжал во двор на телеге, запряжённой старой кобылой, и стопарился у чугунной колонки, откуда все соседи брали воду на полив огорода.

Если бы, скажем, некий художник-постановщик взялся набросать эскиз к пьесе из расхожей цыганской жизни, то и он бы не смог более убедительно воссоздать образ возчика и его лошади, странную конструкцию повозки, да и сам торг — занимательнейший спектакль, что регулярно игрался в декорациях обыденной жизни станционного двора.

Старьёвщик был совсем не стар: широкоплечий, кряжистый, с великолепной крутизной иссиня-чёрных кудрей на голове. Такой же иссиня-

чёрной была и борода, но в ней отдельной яркой белизной сияли чисто-серебряные колечки ранней седины. Наверняка сам цыган знал и ценил природную красоту этакой нарядной бороды: она всегда была у него аккуратно подстрижена и расчёсана, не слишком длинна, но и не коротка — в самый раз, чтобы смотреть на нее и любоваться россыпью серебряных колечек чистойшей седины. Тем более, когда, усмехаясь, он приоткрывал рот, и оттуда высверком стрелял золотой зуб, вернее, золотая коронка, непрременная для любого представителя данного национального меньшинства. Хотя рот он открывал не часто, был невозмутим, цену опускал лишь до какого-то своего, им себе установленного предела.

Одет был старьёвщик самым обычным для цыгана образом: сапоги, магазинные штаны, ватник (если жарко, то на голое тело).

А вот лошадь его...

Батя однажды назвал её «крылатой», пояснив, что это не поэтический образ, а такое определение у лошадников: если масть светлая — саврасая, мышастая или каурая, но с тёмным оплечьем, будто крылья сложены за спиной. Каждый раз, когда во дворе появлялся «хурды-мурды» со своей телегой, Сташек вспоминал батины слова и воображал, как крылатая лошадь старьёвщика вдруг расправляет тёмные крылья, взлетает (вместе с цыганом и телегой, грузённой изумительным барахлом) и парит в облаках, слегка задевая их крыльями.

Телега была необычная — скорее фургон, только вместо глухих бортов по краям её шёл частокол

14 обструганных колышков, по верху закреплённых длинными жердями. А задняя часть телеги была крытой: грязный зелёный брезент поверх трёх металлических дуг. При сильном ветре брезентовая крыша вздымалась, точно парус, и тоже просилась в небо.

Там-то, в укромной глубине фургона, цыган и копил свой улов, а в передней части, сразу за хвостом крылатой кобылы, раскладывал товары на обмен. Всякая мелочовка для детишек — глиняные свистульки, калейдоскопы, бумажные флажки, стеклянные шарики, надувные шары из тугой резины рыжих аптечных сосок — лежала в корзинке; товар посерьёзней он размещал зазывно, как хороший коробейник: китайские фонари, китайские кеды, керосиновые лампы, коврики с оленями и утками-лебедями, сковородки да кастрюли красовались наособицу, выгодной стороной к покупателю.

На что менял свой товар? Да на всё — ненужную бумагу, старые газеты-журналы, негодные вещи и мебельный хлам. Но особо ценились для обмена металлы: чугун, медь, железо. Неподалёку от цыганских бараков стояла скособоченная будка приёма вторсырья, напоминавшая деревенский нужник. Там обычно и восседал старьёвщик, принимая вещи от населения. (Вообще, сбыт металлолома цыгане держали в своих руках, и того наглеца, кто сдавал не им, а напрямую в государственные пункты скупки, били страшным боем.)

Однажды Сташек приволок из дому тяжеленный угольный утюг. Разыскал в кладовке и рассу-

дил, что никому тот не нужен — гладили электрическим, лёгким и проворным утюгом, на который мама не могла нарадоваться: руки не болели после глажки. Ну и влетело ему! По первое число. Оказывается, мама приберегала эту драгоценность «для серьёзного обмена». «Сплавил! — восклицала она, всплёскивая руками. — Гляньте-ка на этого менялу: сплавил такую богатую чугунёвину за глиняную свистульку!»

Въехав во двор и обосновавшись у колонки, старьёвщик со своей телегой довольно долго оживлял скромный коммунальный пейзаж. Сначала к нему слеталась детвора с чем ни попадя — главным образом с пустыми бутылками, выцыганенными у родителей. Когда спадала первая бурная волна торговли с маленькими туземцами, из домов показывались взрослые, в основном хозяйки. Выносили старые одеяла и подушки, тащили покосившиеся этажерки и колченогие столики, несли отслужившие своё ухваты, чугунки с прогоревшим дном, ржавые топоры и колуны без топорещ, рулоны проржавелой сетки рабицы, прогоревшие паяльные лампы, ломы-лопаты, санки с выломанными жердями... Чего только не валялось по сараям да кладовкам, по чердакам и подвалам: разумный человек никогда не выкинет полезной вещи, пусть даже и выбывшей из хозяйства.

И начинался Великий Торг!

Дворовые бабы торговались крикливо и обидно, брали на горло, задирались. Им казалось, чем громче, тем убедительней и действенней, тем скорее цыган спустит цену. Он же только усмехался,